Вера Панова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографический цикл «Из американских встреч» должен был стать частью большой книги путевых очерков, но автор отказалась от этого замысла. Цикл дополнен неизданными записями из дневника «Москва — Париж — Нью-Йорк» (1960). Общее название сохранено по авторской публикации рассказов цикла в журнале «Новый мир» (1964. № 7).

- Вера Федоровна Панова
  - Москва — Париж — Нью-Йорк
  - У старого художника
  - США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов
  - Перемещенное лицо
  - Комментарий
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Вера Федоровна Панова
Из американских встреч

Москва — Париж — Нью-Йорк

Записи из дневника

14 ноября 1960 г

Около 12.00 вылетели из Москвы в Париж на ТУ-104.

Летели без посадки, прорезав один за другим четыре или пять слоев облаков, и в 16.00 (17.00 по парижскому времени) приехали в Париж (то есть прилетели).

Там, хоть не сразу, нам дали какую-то кратчайшую визу, разрешив тем самым погулять по городу до отлета, который должен был состояться через четыре часа.

Какой-то мальчик из посольства встречал нас. После того как мы переехали со своими вещами (на автобусе) в управление «Air France», мальчик заехал за нами снова и повез на машине, которой правил сам, показать кусочек Парижа.

Мы видели Дом инвалидов (он рядом с управлением «Air France»), черный от копоти: площадь Согласия; Елисейские поля, которые не поля, а просто нарядная улица с множеством магазинов; Assemblee nationale (тоже в черном, с траурными глубокими пятнами, налете копоти на колоннах и статуях; узнать — там ли собирался Конвент и выступали деятели Французской революции?), мы видели мост Александра III, знаменитую Триумфальную арку и еще что-то знаменитое (да, Эйфелеву башню!)

Мост Александра III пышен и безвкусен, все наши ленинградские мосты несравненно лучше.

Триумфальная арка похожа на две безобразно расставленные толстые человеческие ноги. Оставляет зрителя равнодушным.

На Эйфелеву башню смотришь и думаешь — неужели это когда-то волновало людей, неужели Мопассан мог при виде этого испытывать какие-то чувства?!

На мою неорганизованную душу сильнейшее впечатление произвели окраины, по которым мы ехали с аэродрома в «Air France», — это поэтическое смешение старых домов, старых цехов, новых коттеджей, садов, разрушенных и кое-как заплатанных каменных заборов, плюща, виадуков, баров и белья, хорошего и дрянного, развешенного на балконах вполне приличных многоэтажных домов.

Очень многоэтажных, впрочем, нет: Париж — небольшого

роста, по-старомодному. Эйфелева башня тоже невелика.

Крыши домов, даже в центре, плотно уставлены словно глиняными глечиками: это трубы газовых печей, вероятно, индивидуальные.

Машин в Париже 1 300 000, сказал мальчик из посольства. Гаражей нет, машины стоят вдоль улиц, сужая место для проезда. Езда по правой стороне. Скорость не регулируется, одно правило твердое — уступи дорогу машине, идущей от тебя справа.

И еще там чудесные деревья. Это платаны или нет? Высокие, спокойные, с листвой вроде кленовой и с прекрасными стволами, высокими и гладкими, словно замшевыми, в рыжих гладких пятнах на сером фоне.

Было очень тепло. Старики с газетами сидели на скамейках, сияя лысинами. Улицы нешироки: мимо стариков сновали прохожие, за спинами у стариков мчались машины, 1 300 000 штук. Старики благодушно листали газеты, как в XIX веке.

Метро в Париже простецкое: на углу загородочка, чугунная или каменная, над нею на столбе надпись: «Metro», вниз идет лестница. Это вход в подземку.

Много женщин на улицах. Старые одеты смешно, как глухо провинциальные барыни. (Не все, конечно.) У молодых я не обнаружила никакого так называемого парижского шика. Туфли и пальто всех фасонов, модных и устарелых. Шляпы, косынки, непокрытые головы. Сплошь стриженые, новая мода прически еще не привилась к Парижу.

Самой «шикарной» была молодая дама, очень деловая, устраивавшая наши дела на аэродроме, при прилете. Она говорила по-французски, английски и русски. На своих высочайших шпильках она моталась по всему аэропорту и все успевала. Она сама присмотрела, как были отобраны наши вещи, и довела нас до автобуса с вывеской «Air France».

К 17.00 (парижского), поглядев немножко на город, мы вернулись в управление «Air», возле Дома инвалидов. Там нас ждали Симонов, Арагон и Триоле. (Симонов ходил к ним в гости.) Арагон сказал, что в 1961 году издаст «Сентиментальный роман». Спросил, что еще можно издать. Мы назвали роман Ю. Германа «Один год», «Испытательный срок» Нилина («Жестокость» у них вышла) и «Каплю росы» Солоухина. Эльза Триоле сказала, что любит Аксакова и что Шолохов сказал, что мы с Триоле пишем похоже. Триоле выразила сомнение в том, что Шолохов ее читал.

Потом мы простились (перед этим выяснилось, что у Межелайтиса в портфеле, в багаже, треснула бутылка с водкой и все вылилось) и в автобусе поехали на другой аэродром. Были уже сумерки, горели огни всех цветов. Магазины, магазины!

Много цветочных (блеск цветов в окнах). Много фруктовых ларьков. Длинный ларек с канцелярскими принадлежностями и книгами брошен, продавец куда-то отлучился… Потом поехали опять через окраины. Густел вечер. Оглянулась — за плечом лежал, в огоньках, голубой Париж…

О, не забыть: давно не крашенные, серые от времени, жалюзи на окнах, а в нижнем этаже — масса лавочек с бедово раскрашенными вывесками… И деревянные заборы, тоже посеревшие от дождей с такими же палями, как наши.

В новом аэропорту было порядочно каких-то проверок и формальностей. Я ужасно боялась, как бы чего-нибудь не потерять из выданных нам бумаг. В конце концов нас благополучно погрузили в реактивный самолет, и в 18.30 по парижскому времени (20.30 московского) мы полетели.

Мне сначала в этой машине не понравилось: узенькие кресла, и хотя пассажиров было мало, но нас всех сгрудили в одном месте, плечом к плечу друг с другом. Но потом все разбрелись по машине и устроились как хотели. Я сняла перегородки между тремя креслами, подложила под голову три подушечки и, укрывшись пледом «Air France», проспала почти все время, что мы летели до Нью-Йорка. Это дало мне возможность безболезненно совершить переход на нью-йоркское время. Ибо, пролетев без посадки восемь с половиной часов, мы прилетели не в пять часов утра по московскому, как бы следовало, и не в три часа утра парижского, и отнюдь не 15 ноября, а по-прежнему 14-го, в 20.00, что ли, нью-йоркского времени, вечером.

(Я не знаю, куда девались эти восемь часов, что с ними сталось. Чтобы не мучиться от тошнотворной условности всего сущего, я предпочитаю не думать об этом своим бабьим умом.)

Когда я проснулась, мы летели над полыхающим океаном огней, простиравшимся за горизонт, — это были пригороды Нью-Йорка. Огни всех цветов, и местами они создают маленькие цветные зарева. Кто не видел, не может представить себе прелести этого сияющего зрелища. И длилось оно долго, минут двадцать. Океан электрических огней! (Атлантического мы не видели, летя над тучами.)

Итак, был вечер. Мы снизились, спустились по лесенке на громадный аэродром. Едва сделали несколько шагов, к нам подошли встречающие: дама из госдепартамента, говорящая по-русски, ее зовут Екатерина Вильямовна, мы зовем ее миссис Кэтрин; затем американец Котен, когда-то работавший в СССР и хорошо говорящий по-русски, — он встречал Симонова; затем две переводчицы: старая madame Грант и молоденькая Наташа. И какой-то джентльмен в сером.

Было очень тепло. Всё оформили (джентльмен в сером) очень быстро и без нашего участия. Подошли еще встречающие — корреспондент «Правды» и какие-то люди с ним. Это всё друзья Симонова и Романовой, я никого не знала; потом уже корреспондент «Правды» дал мне свою карточку. Кэтрин усадила нас в машину, и мы поехали в отель «Интернациональ» (кажется, так?). Недалеко от аэродрома. Нас развели по комнатам. Я приняла ванну и заснула как убитая.

15 ноября

Проснулась в семь часов (уже по нью-йоркски). Оделась. В восемь часов зазвонил телефон, женский голос крикнул: «О'кей!» — это меня будили, чтоб не проспала.

Все мы спустились вниз. Лифт чудный: идет неслышно и мгновенно. Позавтракали. Первое знакомство с американской кухней: прекрасный кофе, блинчики, кленовый сок; остальное очень сытно, но невкусно. Жареные колбаски здесь поливают кленовым соком.

1960

У старого художника

В городе небоскребов и лифтов мы входим в невысокий дом, этажей в пять-шесть, и поднимаемся на самый верх по лестнице — лифта нет.

Лестница деревянная, края ступенек стерты: много по ним прошло ног, дом старый. И она такая узкая, что всходим мы гуськом, длинной вереницей, и идущему навстречу приходится жаться к стенке, а нам — к перилам, чтобы разминуться.

В крохотной передней нас встречает жена художника. У нее темные морщины, сгорбленная спина, узловатые руки висят тяжело и покорно. Удручающая смесь высокомерия и приниженности: пытается принять гордую осанку и цедит слова, и вдруг эти руки суетливо вскидываются — помочь нам снять пальто. Мы в смущении отклоняем помощь и в комнату, тесную от картин, вступаем смущенные. Я, впрочем, всегда цепенею, когда случается так вот входить в мастерскую, где чей-то созидательный дух уединился для труда. Всегда кажется, что пригласили нас только из вежливости и что каблуки наши слишком стучат.

Нам сказали, что человек, к которому мы идем, — ищущий, горящий, полвека отдавший искусству, и вот он к нам выходит, театрально отодвинув портьеру и приостановившись на миг. Худой, с впалыми щеками, легкий. Серебряные и тонкие, как паутинки, волосы разлетаются от его быстрых движений. Брови черные, мефистофельские, и под ними блеск черных глаз.

— Я рад. Прошу садиться.

Нет, это не только вежливость. Он взволнован. Приготовил картины, завалил этюдами большой стол. Вздыхает короткими нервными вздохами.

Картины — куда ни глянь. По стенам, на спинке дивана, буфете, подоконниках. Жилая комната, в ней едят, тут на диване спят, спали и плед оставили. И тут же мастерская — завешенный мольберт против окна, и табуретка измазана красками, и краской перепачканные тряпки. Когда он отодвинул портьеру, мелькнула кухонная полка с кастрюлями. Должно быть, квартира состоит из этой комнаты, кухни и передней.

— Пойдем от истоков, не правда ли? От того, что я писал еще будучи птенцом, мои первые шаги, это было тому назад… Эмили!

Жена подает ему маленькое полотно в золоченой почерневшей раме. Мы рассматриваем озеро с лодочкой и скалистый берег.

— Вы, может быть, скажете: банально? Если можно природе

предъявить обвинение в банальности, то можно и мне… Это самое начало, моя заря еле брезжила, мы с Эмили были тогда в Швейцарии… Другие опыты того же периода. Лунная ночь. Наш дом. Мы снимали… Эмили!

Жена подает полотна.

— …снимали маленький дом Вот он в фас, вот он в профиль.

Черные глаза вопросительно бегают по нашим лицам, он хочет видеть наше впечатление, угадать наши вкусы.

— При внешней непритязательности этого наброска — воздушность красок, не правда ли, эта вздувшаяся занавеска… Рука моя крепла с каждым днем. На этом склоне, усеянном луговыми цветами, я устанавливал мой мольберт и писал. Я принимался за работу рано, трава была осыпана росой. А по этой дорожке мы поднимались к вершине. Впрочем, скоро я бросил пейзаж.

На пороге маленького дома стоит женщина. Корсаж со шнуровкой, чепец, молодое лицо. То же лицо без чепца, длинные волосы распущены.

— Этюд называется «Волосы Эмили». У нее были необыкновенные волосы…

Действительно необыкновенные. Изобильные, бурные — каскад живой жаркой силы. Достойные увековечения и любви.

Художник читает наши мысли.

— Да, — откликается он, — было время…

Было время. Его называют чистыми радостными словами: заря, исток. Было время, они жили в этом домике. Он писал, пристроившись на зеленом склоне. Она подходила по траве, осыпанной росой, взглянуть, что у него получается. То надевала чепец, то распускала волосы, чтобы радовать его и вдохновлять. И полна была веры и надежды.

— Мы вернулись в Штаты, я оставил пейзаж и перешел на ню. Лет пятнадцать я продержался почти исключительно на ню. Эмили!.. Купальщица. Серия купальщиц. После ночи любви. Меняющая рубашку. Нимфа. Нимфа. Еще одна нимфа. Вот очень строгая нагота — Эллада. А эта серия называется «Если бы ты никогда не носила одежды». Обнаженная за шитьем. Обнаженная чистит картофель. Обнаженная под зонтиком на прогулке. И так далее, сюжеты ясны. Это копии, оригиналы проданы, они продавались еще теплыми, из-под кисти, вы не представляете, какой успех, каждый магазин стремился выставить в витрине хоть один рисунок из серии «Если бы ты никогда…» Мы с Эмили снова предприняли тогда путешествие, мы были в Испании, вот испанский мотив — обнаженная с веером…

Обнаженные, строгие и не строгие, писаны давно. Нынче

наготу пишут иначе. Пятнадцать, он сказал. За пятнадцать лет женщина, несчетно раз здесь написанная, менялась. Еще не старилась, но становилась шире, грузней, словно ширококостней. Не раз это тело было испытано материнством. Эта грудь вскармливала детей. Грубели черты лица. Уже не распознать той нежной, с тонкими розовыми руками, но это она, на всех рисунках одна бессменно, и нимфа и Сафо, и картошку чистит она, и купается она, любовь, нянька, друг-товарищ и даровая натурщица.

Она подает мужу свои изображения и взглядывает на них равнодушно привыкла? Или жестокое произошло отчуждение, разверзлась пропасть между той, все могущей, и этой согбенной? Или просто усталость, наморилась с кастрюлями за день, прилечь бы, а тут посетители?.. Среди банок и скрюченных тюбиков на табуретке пузырьки с лекарствами. Старость — это ведь в том числе и сердце, и сосуды, и поясница, и то, и се…

А художник все показывает, все говорит. И как бы его ни терзали волнения самолюбия — слова сходят с губ без запинки: заучены. Так же заучены движения жены. Известно, что сейчас понадобится, что заранее нужно вытащить из кипы. Выработано практикой. Мир всё больше жаждет духовной пищи. В поисках питательного продукта люди шуруют всюду, топают по выставочным залам и тесным чердакам.

Где дети? Они были. Почему нет их следа в ворохах картин, картинок, набросков? Может быть, воспоминание о них слишком болезненно? Убиты на войне? Умерли в детстве? Выросли, вырвались прочь, борются с жизнью вдали от родителей? А то — бывает — преуспели, зажирели, и голова у них не болит, как говорится? Дети, если вы преуспели, будьте людьми, у отца на старости лет рабочего места кету, разве может художник писать у этого окна, на которое соседний домина навалился своими пятьюдесятью этажами?

— …После Испании была мертвая натура, я в нее ушел, как в монастырь, на много лет, — мой бог, сколько сил, нервов… И что же?! Вы не скажете, что это хуже Сезанна!

Он поднимает натюрморт, яблоки.

— Это темпераментней Сезанна! Такого мнения профессор Мальтра, посетивший меня, — в каком году, Эмили, он нас посетил?

— В сорок девятом.

Натюрмортов еще больше, чем обнаженных Эмили, Когда он в них ушел, пылала ли в ней прежняя вера? Или, став мускулистой и ширококостной, она усомнилась?

«Не слишком ли много, — возможно, подумала она, — яблок

и груш, и гитарных дек, и посуды, целой и в черепках, и нет чего-то, чего-то главного…»

Экспонаты в рамах исчезли. Рамы были золоченые, потом деревянные. Эмили под зонтиком была в широкой бархатной раме. И не стало рам. Не напастись.

— Эту композицию профессор Мальтра считает шедевром. Эффект достигнут тенью кувшина, разрезающего стол по диагонали…

«Вдруг таланта нет и не было никогда? Что же, призраку отдана жизнь? Мы умрем, и это никому не понадобится?»

А он что думает в свои бессонные ночи? Старость художника — это не сосуды, не поясница, бог с ними, — это беспощадное стояние лицом к лицу с несвершенными замыслами; с сознанием, как не похоже то, что сделал, на то, что хотел сделать. Замахивался на одно, получилось почему-то другое. И уже нельзя начать сначала, некогда доделывать, переделывать. Что написал, то написал, что есть, то и останется… Сколько стариковских кряхтений, обид, бессилия, покаянных слез вобрал в себя ветхий плед, брошенный на диване?

Но об этом не говорят никому. Даже Эмили.

— …дань импрессионизму. Мы в интерьере, он подразумевается, и смотрим в окно. Верхние огни — отражение люстр, висящих в подразумеваемом интерьере. Огни внизу — огни улицы, видимые нами сквозь оконное стекло.

«Есть, есть талант, — думает она. — Ужасно подозревать, будто его нет и не было. Вы, пришедшие соприкоснуться, могли бы написать эти огни? Вы их даже увидеть не сумели бы, если б он вам их не показал! Ты мой гениальный, не зря мы с тобой голубым утром пошли за руку к вершине по той дорожке!»

Она надменно поднимает на нас увядшие глаза.

А художник положил руку на груду рисунков торжественно, как бы приносит присягу:

— Вы видели! А теперь я говорю вам: то, что вы видели, — давно прошедшее, несовершенное! Я демонстрировал это все, чтобы показать, как несовершенно я писал прежде чем… Эмили!

И он возносит перед нами пестрые четырехугольники, один за другим. Потоки цветных пятен. Толчея цветных пятен. Толчея за толчеей! Желтое, серое, красное, синее, блики, блики, блики, текучие тела, взболтанные яйца, взорванные шары. Почва уходит из-под ног. Хочется ухватиться за ручки кресла. Минутку! Хоть отделить одну толчею от другой толчеи! Что-нибудь закрепить в памяти! Хоть на мгновение, если больше нельзя!.. Художник гневается. Накаляется яростью. Каждый взмах его руки полон ярости, взлетают волосы, сейчас он обрушит весь этот хаос на

наши головы.

— Скажете — хуже Кандинского?! Повесьте рядом с Кандинским и увидите!!

«Но успех был только раз, — так, возможно, думает она, — один раз, очень давно, у нас был успех и были деньги, и принесла их моя нагота, только соблазн моей наготы, и больше ничего».

Художник обращает на нее сверкающий взгляд и говорит, еще повышая голос:

— А кто был признан при жизни? Кто? Кто?! Несколько избранников счастья, которых можно сосчитать на пальцах!

Потом он говорит:

— Всё.

И плечи у него опускаются.

И весь он — выдохшийся, изнеможенный.

Всё.

Мы поблагодарили, тихо оделись в передней и сошли по узкой стертой лестнице.

Вышли на улицу. Американское небо мчало над нами свои сумасшедшие зарева. Взрывалось, кувыркалось, взбалтывалось, текло желтое, красное, синее. Как Петрушка из-за ширмы, выскакивал — а я вот он! — и исчезал электрический крест, реклама молитвенного дома.

Мы шли и молчали сперва, а потом, по привычке, обсудили вопрос. Когда на нас не смотрели живые страдающие глаза, мы были храбры в суждениях.

— Плохо всё, — сказал один такой лихой храбрец. — И масло, и карандаш, и пейзажи, и натюрморты, и то, о чем он сказал — повесьте рядом с Кандинским.

— Не то чтобы совсем плохо, — снисходительно сказал самый образованный, — но несамостоятельно, подражательно и потому не представляет интереса.

— Чего там подражательно, не подражательно, — сказал третий, решивший не уступать первому в лихости, а второму в образованности. — Дело ясное: холста много, бумаги много, есть, пожалуй, горенье, есть метанья, таланта нет.

— Вот вы какой приговор вынесли, — сказал четвертый.

— Притом окончательный, — сказал третий самодовольно. — Не подлежащий обжалованию.

— Что говорить, бедняга, — сказал пятый. — Если и есть способности, то не такие, чтоб оставить след в искусстве.

— Это еще что? — спросил четвертый. — Какой тут нищий духом сумеет называть беднягой человека, прожившего в искусстве жизнь?

— Да я ничего, — сказал, устыдясь, пятый. — Я так просто.

— То-то, — сказал четвертый. — Что ж, что не талант. Что ж, что только способности. Всё равно он живет на высотах, куда самодержцы смотрят с ревностью.

Первый и второй тоже устыдились и стали говорить, как, действительно, прекрасно быть даже маленьким художником, плачущим по ночам под старым пледом.

Ночью поплачет, а утром встанет, возьмет свою кисть и краски и опять увидит себя громадным, мощным, дарящим радость людям. Голову свою увидит в сиянии.

Пусть и не орел — всё равно парит на орлиных крыльях.

Любую боль можно выдержать в парении.

А если еще несет он на крыльях подругу, преданную до гроба…

Что ж, если иной раз изнеможет и усомнится подруга, добавляя боль ко многим болям. Усомнится, и тут же воспрянет, скажет: ты мой гениальный! и надменным станет взор. И парят себе дальше.

1964

США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов

Еще светит солнце, но на улице Бурбонов уже стоят зазывалы, хватают прохожих за рукава, тянут в узкие двери. По обе стороны улицы эти двери, за каждой дверью бар, в каждом баре джаз. Улица Бурбонов — улица джаза.

Некоторые бары держат танцовщиц. Фотография у входа изображает девушек в испанских костюмах и балетных юбочках. Зазывала вскрикивает резким голосом:

— Эй! Дружище! К нам! Новые герлс, ты ими еще не любовался, дружище!

Во второй половине ноября в Нью-Орлеане тепло, люди одеты в пиджаки и легкие платья. Южный вечер сваливается сразу, без подготовки, без сумерек на старинные дома с решетчатыми балконами, похожими на черные кружева.

Мы входим в бар, четверо иностранцев, русских. Нас проводят в глубину длинной комнаты, узкой, как кегельбан. Во всю ее длину — барьер, слева, за барьером, столики для посетителей, справа эстрада в глубокой нише. Ниша обита красным и ярко освещена. В баре полутемно, еле горят тусклые лампочки в виде звездочек, в табачном дыму оплывают на столиках свечи. В полумраке посетители потягивают коктейли и проворными тенями движутся официантки, и только раковина эстрады пылает, как красный вертеп.

Герлс нет в этом баре. В красном вертепе трудятся четыре музыканта. Их инструменты — кларнет, саксофон, рояль и какой-то сложный агрегат, я не знаю названия, он обладает способностью воспроизводить самые различные шумы, от адского визга до грохота, напоминающего о космических катастрофах. Четыре музыканта трудятся в поте лица, красный пот течет по их немолодым, озабоченным лицам, они не актеры, не лицедеи, они просто музыканты и не стараются прикрыть улыбками свою озабоченность. Конкуренция тяжкая — сколько таких крохотных музыкальных коллективов шумит сейчас на улице Бурбонов, а сколько музыкантов не у дел, без работы, согласных играть где угодно и что угодно… Четыре музыканта в пылающей нише стараются изо всех сил. Время от времени кто-нибудь из них выходит вперед, к микрофону, и исполняет песенку. Именно исполняет, а не поет: так старательно он это проделывает и так мало у него голоса. Голоса, собственно, вовсе нет, но остальные трое дружно аплодируют, восклицая:

— Да, вот это пение! О, молодчина, как он спел! — и этим поощряют слушателей к аплодисментам.

«Я хотел бы умчать тебя на край света», — поет один. «Я чувствую грусть, когда не вижу тебя», — поет другой. «Нет границ моей любви», усердно поет третий, приблизив рот к микрофону. После каждой такой песенки, почти неотличимо похожей на предыдущую, — новый взрыв грохота, скрежета, лязга, разрывы бомб и вой обезумевших пил.

Dream room, называется бар. Dream room? Мы переводим этак и так. Комната сновидений. Комната грез… Выходит пятый, негр в красном пиджаке. Он танцует. Непонятно, как он устроен, его конечности гнутся во все стороны, подошвы не касаются пола, для него не существует закон притяжения, это скорее фокус, чем танец. Ему хлопают — он не кланяется, не улыбается, продолжает танцевать. Музыканты ускоряют темп, и негр ускоряет темп. Музыка все бешеней, и негр пляшет бешеней, ему это словно бы ничего не стоит, он врос в музыку, он одно целое с этой бешеной музыкой — он, и его колени, и его подошвы, — и кто скажет, что когда-нибудь он умрет во время пляски от разрыва сердца, — и лицо у него скорбное и надменное.

И пришла та, которая в высочайшей степени сумела это всё оценить, пережить сполна, восхититься каждой клеточкой своего естества. Это была рослая девушка с белокурой завитой головой, в черном платье и дешевых украшениях. Она стала у столика и горделиво оглянулась кругом, как бы спрашивая: да вы замечаете или нет, какая я нарядная? Что-то сельское, неискушенное было в ней, несмотря на завивку и все эти цацки. Они сели рядом с нами, за соседний столик, — она и ее спутник, скромный молодой человек в темном галстуке и гладкой прическе. Им подали коктейль, но девушка не стала пить. Положив на стол большие рабочие руки в копеечных браслетах и кольцах, она обратила к эстраде свое доброе простое лицо. Так и написана была на ней вся ее жизнь: как она работала целый день этими вот большими, сильными руками, так же старательно и озабоченно трудилась, как эти музыканты, — а вечером надела выходное платье, купленное на заработанные деньги, разукрасилась, как могла, и пошла веселиться. И такая доверчивая готовность ко всякой радости, какую ей предложат, была на ее лице.

— О, Томми, смотри! Смотри, Томми! — вскрикивала она и хлопала отчаянно, уверенная, что ей предлагают самое отменное… Молодой человек стеснялся; тихим голосом он говорил ей что-то, пытаясь утишить ее восторги, — она не слушала.

— О, похлопай ему! Смотри, что он делает… Браво! — закричала она вне себя, подняв руки над головой. Багровое зарево эстрады красило ее руки и волосы в розовый цвет. Конечно же,

для нее это была комната грез, вместилище райских снов! Они знали, что делали, когда называли так свое заведение и вешали эти звездочки.

И понимая, что здесь присутствует самое главное лицо, почитающее их искусство как никто другой, — музыканты пришли в раж и превзошли себя в стараниях и грохоте, и негр превзошел себя, он у нас на глазах стал буквально разламываться на куски.

Он разламывался на куски, а губы у него стали синими, и он танцевал, танцевал, танцевал, и уже у зрителей болело сердце от того, что он танцует так долго и не перестает, а он и музыканты, все они впятером, надрывались, чтобы доставить как можно больше ликования девушке в цацках. И уже другие зрители совсем изнемогли, а она все ликовала и ликовала.

Только когда она устала кричать и хлопать и ее озаренная голова опустилась на руку, те пятеро прекратили свое безумство. Негр ушел, а тот, что с кларнетом, подошел к микрофону и спел песенку. «Спокойной ночи, спел он, — помоги тебе бог!» И девушка, усталая, сонно хлопнула в ладоши и улыбнулась, и молодой человек в темном галстуке увел ее из бара.

Мы тоже вышли на неширокую, освещенную цветными рекламами улицу Бурбонов. Из всех ее дверей гремел, визжал, мяукал джаз. Зазывалы в клетчатых ковбойках стояли у дверей. Мы обогнали ту девушку. Она шла, тяжело ступая на каблуках-шпильках. У нее была широкая спина и стриженый крепкий затылок, ее Томми казался мальчиком рядом с ней Она шла и напевала. «Спокойной ночи, — напевала она бездумно, — спокойной ночи, помоги тебе бог».

1960

Перемещенное лицо

Прощай, дивчина, карие очи!
Еду в чужую сторону.

Песня

— Доброе утро! Вы уже завтракали?

— Доброе утро! Я позавтракал, иду за аппаратом, выходите на улицу, будем сниматься!

Это мы с товарищем перебросились словом, разминувшись в коридоре чикагской гостиницы.

Очень старая женщина, катившая мне навстречу столик с бельем, остановилась.

— Боже ж мий! — сказала она. — Русские!

— Так, — ответила я. — А вы украинка.

— Сердце мое, с Полтавщины! — вздохнула она тихогорестно. Советские. Бачу. Бывали на Полтавщине?

— Бывала…

Передо мной проплыли, дыша и светясь на солнце, цветущие вишни. Цветущие вишни прежде всего увидела я. Потом белые хаты, аиста на соломенной крыше и в мокрой траве левады криницу с черной глубокой водой.

— С Полтавщины я. Вот куда занесло меня лихо…

Она облокотилась на столик. Белоснежными стопками лежало белье на полочках столика. А руки у старой женщины были темные, как земля.

— И не приснилось бы никогда, что придется доживать — где? В Чикаго! Вы подумайте, ну що мени оце Чикаго?

— Как же так, бабусю, получилось, почему?..

И стоя со мной в этом длинном, как проспект, коридоре, освещенном лампами дневного света, она рассказала, как это получилось.

Может, я передам ее коротенький рассказ не очень связно. Да и она о связности не заботилась. Просто жалоба пролилась из сердца — обязательно ли жалобе быть связной?

…Была ночь — давно, в сорок третьем году. Не то в конце августа, не то в первых числах сентября — черная жаркая ночь без звезд, без зарниц. Накануне очень странный был случай в селе: вдруг, средь бела дня, в туче пыли прикатила машина, остановилась на площади, где был магазин, полиция и управа, и с

машины радио заиграло «Катюшу». Услышав родную музыку, из дворов побежали на площадь жинки и дети и самые старые старики, спрашивая на бегу друг у друга:

— Це вже наши прийшли? — Потому что со дня на день ждали, что немец уйдет, и гадали, как это будет; ложились на землю и прижимались к ней ухом, слушая, как гремит где-то битва; и агрономша Ганна Борисовна пешком ходила в Харьков и принесла за лифчиком советские газеты, там напечатано было, что скоро всему этому край… Когда на площади заиграли «Катюшу», все подумали — вот оно, слава богу, сделалось дело! — с легкостью, без стрельбы, и новый хлеб не успел немец вывезти, — с музыкой возвращается жизнь, так подумали.

Пока бежали к машине, музыка замолкла. Радио прокричало, что немцы выгнаны из Курска и Орла — это уже известно было из агрономшиных газет, что Муссолини больше не у власти и итальянцы немцам не союзники — а вот этого в селе не знали. Прокричав, машина зарычала и унеслась в пыльной туче. Что за машина, почему полицаи ее не задержали, даже не высунули носа из полиции, — не понял никто. Посмотрели вслед и разошлись, веруя в близкое избавление. Тот день как праздник был.

А после него наступила черная ночь. Спало село, и та спала, что рассказала мне это. И сквозь сон послышалось ей — кто-то едет мимо хаты. Едет, едет, никак не проедет. Медленно ворочаются, поскрипывая, колеса, колеса… Села, прислушалась — окна были ставнями закрыты крепко: так и есть, едут. Набросила юбку, кофту, босиком вышла во двор, подошла к тыну. На улицу после десяти часов запрещалось выходить, она глядела через тын. Сначала ничего не видела, только слышала: катятся колеса, дышат лошади; кашлянул кто-то; дитя заплакало; стрекоча по-пулеметному, мотоцикл проехал, немецкий раздался окрик…

Потом пригляделись очи к черноте, на черном небе различила движущиеся черные горы клади и черные фигуры людей, сидящих на клади, безмолвно куда-то едущих. Воз за возом, воз за возом… Когда разрывалась их вереница, было видно, как по ту сторону широкой улицы попыхивают папиросные огоньки: там тоже стояли за тынами, курили, смотрели.

— И такая у меня была тоска, мов то судьба моя черная ехала.

Так одни стояли всю ночь, не вправе выйти и спросить ни о чем, а другие ехали всю ночь, не вправе ни вернуться, ни остановиться, ни возвестить о своей беде.

Кто его знает, как секреты известны становятся, — когда проехали возы и стало развидняться, в каждой хате уже знали

твердо, что это Сумскую область погнали немцы, отступая, с собой в Неметчину.

Увидели люди, что ничего им с легкостью не будет. Стали закапывать имущество в землю и обсуждать между собой, где лучше сховаться, в лесу или в кукурузе, она еще стояла неубранная, — чтоб их не угнали.

Но были робкие и смирные, боявшиеся поступать по своей воле, крикнули на них, они посидали на возы и поехали, плача.

И эта женщина поехала с двенадцатилетней дочкой. Дочка была рожденная поздно, между молодостью и старостью, от короткого печального супружества, единственная, голубочка.

Немного их выехало из села. Большая часть ушла в лес или в кукурузу. А пустое село немцы подожгли.

Соломенные крыши пылали красно, жарко… Ехали робкие и, оглядываясь, видели, как вся их жизнь за ними сгорает огнем.

Многие из них в дороге ожесточились и осмелели и побежали обратно на свои пепелища, пользуясь тем, что у немцев в отступлении началась сумятица и хваленой ихней организованности пришел капут.

А женщина с двенадцатилетней дочкой так и не переборола свою робость и продолжала ехать.

С воза пересадили ее на грузовик, с грузовика — в железнодорожный вагон. Из страны в страну ехала, попадала и под бомбежки, и в крушения, но из всего вышла невредимой.

В каждой стране были нужны ее терпеливые сильные руки, и она этими руками работала.

В Германии развалины прибирала.

Во Франции развалины прибирала.

Опять ехала, на пароходе, долго, по громадным, ужасным волнам. В Америку приехала.

Из страны в страну. Только домой вернуться не смела. В газетах писали здешних — советская власть страшно на нее сердится за отъезд; как вернется — в тот же час в тюрьму вместе с дочкой.

После узналось — брехали газеты. Да узналось поздно: дочка замужем за американцем, двое детей, третий будет, — бросить их?..

— Бросила бы. Бо немае мени тут життя. Чужое оно все, на что б ни подивилась!

— О боже, рождество скоро и Новый год, а снега и не было… Санта-Клаусы по улицам ходят в червонных колпаках… Елки из нейлона зроблены… У нас хлопцы и дивчата колядовать пойдут… Знаете, как колядуют?

Как же: чуть, бывало, начнет смеркаться, уж слышно — хрустит снег под окнами, стучится маленькая озябшая рука, просят голоса:

— Пустить колядовать!

Коляд, коляд, колядница,
Добра з медом паляница,
А без меда не така,
Дайте, дядько, пьятака!

И давали ребятам — кто пирогов, кто кусок колбасы, кто сала. А не пустит хозяйка в дом и гостинцев не вынесет — ей в отместку поют под дверью:

У дядьки-дядька
Дядина гладка,
Не хоче вставать,
Колядки давать!

И с счастливым звоном улепетывают по визжащему серебряному снегу…

Сейчас, возможно, вывелись колядки, не знаю. Как вывелись многие другие обычаи, христианские и языческие. Как старинная одежда вывелась. Много перемен в наших селах, что украинских, что русских. Но пусть в памяти старой женщины живет все до капли, что ей дорого.

— А в богатый сочельник мы варили борщ, и чтоб он не был вдовец готовили ще жареную рыбу, або кисель добрый из вишен, из слив… А на рождество бывала у нас свинина с капустой и холодец свиной, и коржики сдобные, и пироги с маком… А когда я молодая была, всегда мы, дивчата, под Новый год гадали: бросали за ворота сапог або валенок, клали гребешок под подушку, бумагу жгли на сковородци и на тень дивились… А тут хиба рождество, хиба тут Новый год!

Это не очень справедливо: зимние праздники празднуются в США многошумно, капитально. Мы прилетели в средине ноября, до рождества оставалось почти полтора месяца, но подготовка к нему уже началась. Через месяц она достигла высшей своей точки. Мне понравились иллюминированные деревья на чикагских улицах: обнаженные осенние деревья были унизаны тысячами маленьких, неярких электрических огней и в бледных нимбах шеренгами убегали в даль улиц. Но не деревьям принадлежит главная роль в этих делах.

Главная роль принадлежит магазинам. Рождество в США — триумф галантерейной, игрушечной и всякой иной дребедени, стандарта, хлама, грошового блеска, живущего один день. Ни в какой другой сезон так не нажиться на хламе, потому что традиция велит американцам делать на рождество подарки. Все дарят всем. Члены семьи преподносят друг другу подарки. Знакомые преподносят друг другу подарки. Реклама в журнале: муж и жена с радостными лицами сидят за столом, в руке у мужа пачка долларов, доллары улетают прочь длинной стаей, муж и жена улыбаются, показывая зубы: «Мы не жалеем денег на рождественские подарки!»

Уважающие себя магазины держат специально рождественских зазывал. Куда ни пойдешь, всюду вдоль небоскребов похаживают Санта-Клаусы, по-нашему Деды Морозы. Среди занятых, торопливо идущих людей, одетых в скромные цвета — в серое, черное, коричневое, людей гладко бритых и однообразно подстриженных, эти Деды Морозы, или Санта-Клаусы, бросаются в глаза своей неприкаянностью, своими петушино-красными колпаками и белыми вспененными бородами из пакли. В руке у деда колокольчик. Позванивая им, дед напоминает прохожим об их обязанностях. Позаботился ли ты, прохожий, о рождественских подарках для родственников? Для друзей? Для добрых соседей?.. Кадры Санта-Клаусов черпаются из безработных и студентов, желающих подкормиться на этом пире коммерции. Работа не тяжелая, но противная.

Сотни тысяч мужей и жен толкутся в гудящих универмагах. В небесах и на земле сияют слова: «Спешите купить подарки! Скорей! Позаботьтесь о вашем завтрашнем дне: всё дешевое будет раскуплено!»

«Дорогая леди, если вы купите у нас дюжину чулок, тринадцатую пару вы получите бесплатно».

«Покупайте подарки в магазинах Лернера!»

Что ж, кто-то так привык, и душа его лежит к этой жизни.

Но что здесь полюбить старой женщине, пришедшей из великих просторов нашей страны? «Що мени оце Чикаго?» Сквозь грохот чужого мира несет она в себе другую любовь.

— …А белье у нас прали в речке. Пойду на Псел, и гуси мои за мной: га-га-га!.. Выполоскаю и на траве расстелю, в хату внесешь — оно сонечком пахнет и воздухом…

О старое дерево, пересаженное в Чикаго с Полтавщины, все твои корни остались там…

— …Что вы думаете, не можу научиться по-мериканськи. Внуки как начали говорить, то сразу на мериканськом языке.

Дочка выучилась. А я — ну что: ну, гуд найт; гуд монин; тэнк ю вери мач — то значит мерси, спасибо вам, дякую; плиз — будь ласка, пожалуйста. И все почти. Они балакают, а я как глухонемая…

— Ни, бросила бы! Так вот моя доля: зять, мериканец, пьет дуже. Совершенно как мой покойный чоловик, никакой разницы. Як бы я на них не зарабляла гроши, они б пропали, дочка с внуками. Мне семьдесят четвертый год; уже до смерти работать и на себя, и на них.

— Еще спасибо, тэнк ю вам вери мач, что лифт. Нажмешь кнопку и едешь. Вот только коридоры эти ногами вышагивать…

По коридору шла молодая негритянка в передничке и наколке. С любопытством осматривая нас быстрыми круглыми глазами, сказала старой женщине:

— Гуд монин, мэм.

— Монин, монин, — устало отозвалась украинка. — Ну, дай вам бог всего, заговорилась я… — сказала она мне и покатила дальше свой столик.

1964

Комментарий

Впервые: Новый мир. 1964. № 7; Из рассказов об Америке // Ленингр. правда. 1960. 31 дек.; 1961. 1 янв.; Люди за океаном // ЛГ[1]. 1961. 17 янв; Трое мальчишек…[2]: У старого художника; США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов; Перемещенное лицо.

Отрывок «Москва — Париж — Нью-Йорк» (загл. редакционное) обнаружен в архиве Пановой и публикуется впервые (ЦГАЛИ[3]. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 53, л. 1–8).

Цикл рассказов «Из американских встреч» («У старого художника», «США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов», «Перемещенное лицо») был написан Пановой после поездки в США в составе делегации Союза писателей СССР. В делегацию входили также Эд. Межелайтис, К. М. Симонов и Е. С. Романова. Программа поездки была насыщенной и напряженной: Нью-Йорк — Вашингтон — Новый Орлеан — Спрингфилд — Чикаго — Буффало — Бостон — Нью-Йорк. Это была одна из первых после долгого перерыва писательских поездок в США, целью которой являлось восстановление прерванных и налаживание новых контактов в области издательской деятельности и художественной культуры.

Поездка по Америке продолжалась около месяца (с 18 ноября по 14 декабря 1960 г.), и за это время делегация посетила крупнейшие университеты США, многочисленные музеи, театры, концертные залы, научно-исследовательские и культурные центры, редакции больших газет и журналов, издательств, обнаруживших определенную заинтересованность в восстановлении и развитии культурных связей с Советским Союзом.

20 декабря 1960 г., через несколько дней после возвращения из Америки, Панова отправила новогоднее поздравительное письмо сотруднику ЦГАЛИ М. Г. Петровой. К письму приложены рукописные записи из дневника: «За границей я было начала вести дневник. Задумано было широко и богато, — писала Панова, — но терпения хватило только на одну запись. Мне вдруг не захотелось ее выбрасывать, пусть она у вас лежит, ладно?» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 70).

Панова отказалась от мысли писать связную очерковую книгу о большой поездке по Америке; она ограничилась лишь отдельными эпизодическими рассказами, навеянными американскими впечатлениями, заострив внимание лишь на тех деталях и лицах, которые особенно поразили ее. Тем не менее в мыслях и разговорах Панова много раз возвращалась к этому

путешествию (см.: Веч. Ленинград. 1965. 19 марта).

notes

Примечания

1

ЛГ — Литературная газета.

2

«Трое мальчишек…» — *Панова В.* Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964.

3

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).